

Евгений Сабуров

незримое
звено

ЕВГЕНИЙ Сабуров

**Незримое звено. Избранные
стихотворения и поэмы**

«Новое издательство»

2012

Сабуров Е.

Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы /
Е. Сабуров — «Новое издательство», 2012

Евгений Федорович Сабуров начинал свою литературную деятельность как автор московской неофициальной культуры и еще в 70-х годах стал заметной, признанной фигурой этого круга. Его стихи и статьи публиковались в зарубежных журналах, а в отечественной периодике начали появляться только в конце 80-х. В те же годы активизировалась деятельность Сабурова и в других областях (экономика, политика, образование), но не теряет интенсивности и стиховая работа. Поэзия Сабурова, новаторская по своей сути, способная захватывать тонкую ткань новых ощущений, постоянно меняется, и в последние десятилетия его лирика подспудно развивает возможности перехода к эпической и драматической формам. Настоящее издание – пятая книга стихов Евгения Сабурова (и первая, составленная без участия автора). На данный момент это самое полное собрание его поэтических произведений, многие из которых ранее не публиковались.

© Сабуров Е., 2012

© Новое издательство, 2012

Содержание

От составителей	9
Смешение различных состояний	10
«Нам надо встретиться...»	12
«Смешение различных состояний...»	13
«О женщинах о красоте их краткой...»	14
«Королева ко мне склонилась...»	15
«Ты по билету отвечала...»	16
«Я рассказал тебе один секрет...»	17
«Я уловил незримое звено...»	18
«Вот так при запертых дверях...»	19
«Еще мой дом не заселен людьми...»	20
«Зачем же нимб-окалину мы мнем...»	21
«Я видел шелест слышал мак...»	22
«Проснись сударик господин...»	23
«Вот так в четвёртый через третий на десятый...»	24
«И кто когда подумает такое...»	25
«Восстание невидимого неба...»	26
«Не дай мне Бог сухого безразличья...»	27
«Как мореплаватель уклончиво и туго...»	28
«Нет в этот ад я не пойду. не трогай...»	29
«...Вот песьи головы задравшись в темноту...»	30
«...Но боль свою не затаи от мира...»	31
«Надо ли буйствовать маленький нежный Давид...»	32
«Солнце, вращайся от боли, стыда...»	34
«Ищи, ищи дурного единообразья в самых причудливых снах...»	35
«Что же ты скажешь астролог...»	36
Афина	37
«Лёгкок налёт откровенья...»	38
«Я жил. спешу и ты...»	39
«Пусть там мы встретимся где небо белой грудью...»	40
«Мне мыть посуду за собой...»	41
«Такая малая комната, прибранная наскоро...»	42
«Мне хорошо. Как густо день заполнен...»	43
«Не я не я сгубил этот день это утро...»	44
«Христова конница три бешенные „Волги“...»	45
«Изблевал меня круг мой и страна...»	46
«Голос Твой звучит не смолкая...»	47
«Пьяный лев и золотая башня...»	48
«Ах, конь, немая слава всадника...»	49
«Благодарю Тебя, Господь, за то, что я не лев, не пес ...»	50
«На мгlistом асфальте закружится странник ненастный...»	51
«Мир движется. Он снялся. На колеса...»	52
«На голове твоей стая птиц...»	53
«Комками розовыми воздух нашпигован...»	54
«Прекрасный город ночью восстает...»	55
«Слоистый мир, что сквозь меня прошел...»	56

Рождественские терцины	57
Ворон и соловей	61
Песни поезда № 32	67
Ожидается смех, страсть и холод	79
«Полузащитник Бабингтон...»	81
«Но не настолько умер я...»	82
«Когда-нибудь приходит смерть...»	83
«И кинула: Звони! – Зачем?...»	84
«Твои горящие глаза...»	85
«Любовник должен быть смешон...»	86
«Тот хрусталь, который ты дала...»	87
«Поэт не может поумнеть...»	88
«Стихи – предлог для танцев...»	89
«А ведь и вправду мы умрем...»	90
«Все проходит. Постепенно...»	91
«Стареющее – слов придаток...»	92
«Утрата ветки и утрата...»	93
«Мужчина, легендарный, как истерика...»	94
«Клекот, пепел, лай ворон...»	95
«Бесконечна, безначальна...»	96
«Усталость говорит мне о любви...»	97
«Не приведи, Господь, опять...»	98
«Гул размашистый и гомон ...»	99
«Кому смешно, кому совсем не нужно...»	100
«Синим утром, серым утром...»	101
«Поэты не подвержены проказе...»	102
«Нет, не белая луна...»	105
«Не прикасайся...»	106
«Я доволен белым снегом...»	107
«Нарушил девушку заезжий конокрад...»	108
«Какая легкость в этом крике...»	109
«Когда пьешь в одиночку...»	110
«Рано светлая любовь...»	111
«Страшно жить отцеубийце...»	112
«Перед Богом все равны...»	113
«Ты пришел. Мы подняли руки – сдаемся...»	114
«Скажи мне кошечка...»	115
«Ожидается смех, страсть и холод...»	117
«Человек – какой-то дьявол, слово чести...»	118
«За баней девочка быстра...»	119
«Язык новизны и содома...»	120
«Как сатир, подверженный опале...»	122
«Я не жизнь свою похерил...»	123
«Командировочный на койке отдыхал...»	124
«Пять путешествий бледного кота...»	125
«Когда мы живо и умно...»	126
«Утомителен волшебный океан...»	128
«В одиночестве глубоком...»	129
«Что искали, что нашли...»	130

«Страстно музыка играет...»	131
«Не уходи, Тангейзер, погоди...»	132
«Ты ждешь, что роза расцветет...»	133
«Отнесись ко мне с доверьем...»	134
«Гори, гори куст...»	135
«По очищенному полю...»	136
«Пусть тебе не может быть...»	137
«Завтра утром мир побреешь...»	138
«Этот день – ужасный день...»	139
«На рассвете в молочном мраке...»	140
«Было время пел и я...»	141
«Как шепоты ада...»	142
«Я может быть прочту когда...»	143
«Влюбленных девочек черты...»	144
«Логичен как самоубийца...»	145
Конец ознакомительного фрагмента.	146

Евгений Федорович Сабуров
Незримое звено. Избранные
стихотворения и поэмы



От составителей

Настоящее издание – пятая книга стихов Евгения Федоровича Сабурова и первая, составленная без участия автора, умершего в 2009 году. На данный момент это самое полное собрание его поэтических произведений, но и в него вошли далеко не все стихи, написанные Сабуровым за полвека активной и постоянной работы.

У нас есть все основания утверждать, что поэзия была главным делом Сабурова, при том, что перечень и масштаб других его постоянных занятий (проза, драматургия, эссеистика, экономика, политика, образование) выходят далеко за рамки привычных представлений о жизненной программе и человеческой судьбе.

Соединить в одном томе все, написанное Сабуровым, не представляется возможным, и полное собрание его сочинений – дело будущего. Чем-то мы были вынуждены здесь пожертвовать. В книгу не включены, например, большие вещи 2007 года – поэма «Художник в старости» и триптих поэм «В поисках Африки», – только потому, что они были опубликованы сравнительно недавно в четвертой книге Сабурова «В сторону Африки» (М.: Новое литературное обозрение, 2009). Не вошли в настоящее издание и некоторые стихотворения, опубликованные в предыдущих трех книгах: «Пороховой заговор» (М.: Золотой век, 1995), «По краю озера» (М.: ОГИ, 2001), «Тоже мне новости» (М.: Новое издательство, 2006). Зато многие представленные здесь вещи ранее не публиковались ни в книгах, ни в периодических изданиях.

Нужно сделать некоторые пояснения, касающиеся принципа составления данного тома. По некоторым соображениям мы решили отойти от привычного построения сборника, где изданные книги, неизданные вещи и поэмы выделяются в отдельные разделы. Во-первых, только книга «В сторону Африки» является собственно «книгой стихов» – корпусом, единым по времени и авторскому замыслу. В двух предыдущих книгах стихи определенного периода дополнены значительно более ранними поэмами и циклами («Бодлер», «Из 1991 года», «Хаос звуков»). То есть по принципу составления это скорее сборники. «Пороховой заговор» представляет собой еще более сложный издательский случай. Стихи Сабурова начали появляться в отечественной периодике только в конце 80-х (а ранее публиковались в зарубежных журналах и альманахах). Поэтому его первая, сравнительно небольшая книга 1995 года смогла представить лишь малую часть написанного, являясь по существу его кратким конспектом. Ранние стихи не публиковались вовсе и только в последние два года частично опубликованы на страницах журнала «Знамя».

Ввиду этих непростых обстоятельств мы решили при составлении книги придерживаться сквозного, строго хронологического принципа. Но такое решение не было только вынужденным, учитывая, что именно хронологический принцип всегда принимался и одобрялся автором, как самый естественный и логичный.

При этом Сабуров не ставил даты под отдельными вещами, и датировка стихов остается несколько «плавающей». Зато точно известны их последовательность и место в хронологическом ряду. Сам этот ряд выстроен по авторским записным книжкам, всегда имеющим начальную дату и порядковый номер.

Сохранились все (кроме одной) записные книжки, в которые Сабуров записывал свои вещи по мере их появления. Они и являются единственным стиховым «архивом» автора; с ними сверено и настоящее издание. Как и в записных книжках, поэмы (или циклы) не выделены здесь в особый раздел, а расположены в той же хронологической последовательности, образуя естественное членение на периоды всего стихового корпуса.

В публикации сохранен ряд особенностей авторских орфографии и пунктуации.

Названия книги и стиховых разделов принадлежат составителям.

Смещение различных состояний Стихи 1966–1972 годов



«Нам надо встретиться...»

Нам надо встретиться
твержу и не устану
нам надо встретиться
нечаянно нежданно
и встrepенувшись
обернуться разом
нам надо встретиться
и задержаться рядом

Вот мы и встретились
умно и осторожно
мы совершили
все, что было можно.
Не ожидая
близость или радость
вот мы и встретились
и задержались рядом.

Шарахается ветер меж домами,
шарахаются ветки на ветру
я дерево о дерево потру
добуду дремлющее пламя
я мяту между пальцев изомну
и извлеку заснувший запах
все прошлое необязательно
нам надо встретиться мы оба как в плену

«Смещение различных состояний...»

Смещение различных состояний
колеблемая ветром слова полоса
из ожиданий
сплетенная коса
баячат проволки на жести
пронзительно и жестко
и дребезжанье носит вести
а воздух – вести мостик.
О бурое железо крыши
все загорело ржавчиной оконце
коробки окон дышат
солнцем
и пыль на чердаке меж балок
мешается в лучах из окон
и нестерпимо пахнет паленым
моя чердачная эпоха
десятилетия колонн
застыли у веков горкома
зовя мой мир – мой миг оконный
к колоннам прыгнуть на поклон.
Ты мрешь в разноязычьи лада
(дождевки в лужах – бульк буйков)
пожар зеленых языков
горисполкомовской ограды
Все только смена рук и камня
полоски вести
клей ожидания в телеграммы
сколачивай свой дом из жести...
Лепи последнее значенье
все жилка – красное словцо
в чернилах синих излученье
излучины – твое лицо
в ключинах любовь и лето
а в скрипе крыш ключин дребезг
все изученье без ответа
ни зги – и шелест.

«О женщинах о красоте их краткой...»

О женщинах о красоте их краткой
писать. Все стало б на свои места
добро и красота
легли б на полку маленькой тетрадкой

И осень. Еще и осени добро
струящееся между пальцев веток
на землю ветхую
на вечное перо

Не думать не гадать
не волноваться не переиначивать
всё крутится на ваших пальчиках
и небо и земля и суша и вода

а ветки тронутые ветром возмущенно
глядятся в ваших глаз большие водоемы.

«Королева ко мне склонилась...»

Королева ко мне склонилась
на блюдо луга села
и спросилась
что мне снилось
когда она любовь посеяла

ветики ветики яблоч
я не слушал я сетовал
мол солнце село, село мол
не осталось лучей его сабель

Королева не поняла барда
круглым облачком блюдо луга пересекла
была дымом побыла гарью
лодкой-гузиком сплыла.

«Ты по билету отвечала...»

Ты по билету отвечала
вопрос о памяти молчанья
вопрос второй: что есть начало
всех начинаний и нечаянностей

и все ответила не в лад
я ждал тебя у входа в ВУЗ
ты провалилась и плыла
красиво скомкав угол уст

заплаканную прижимал
и в щечку целовал.

«Я рассказал тебе один секрет...»

Я рассказал тебе один секрет
ты узкой кистью запахнула тело
в халатик и глядела
глаза и горе возведя горе
я долго выбирал минуту и удачу
и важные сперва
перерождались слова
все крепче приближаясь к плачу

Плащи надели мы и вышли
у стоечки купили вишни
и чутко слушали дождь утра
и чудно говорили: «нате —
у нас не нервы а канаты»
и поступали очень мудро.

«Я уловил незримое звено...»

Я уловил незримое звено
звено привязанности звездной и земной
лучами высвечено небо надо мной
ночное в стеклышки разбитое окно

То дно небес и от него вниз
невидимыми лучниками пущены
булавочки лучей бездумно и заученно
впиваются между ресниц

и созревают яблоки в глазницах
для новых жатв
и вся земля нанизана на спицы
лучей, что движутся дрожа

твой звездный бег неотвратим
не растворится над тобою звездный дым.

«Вот так при запертых дверях...»

Вот так при запертых дверях
соединять возможное с возможным
чтоб в угол сваливался прах
уже не нужной кожи

и ты б летел, охолодав
в разверстые проемы
и под тобой цвела б вода
на ржавых водоемах

как рыжие глазные пятна
меж камышей ресниц
ты камышовой трубочкой приснишь
в моих губах свистящей о невнятном.

«Еще мой дом не заселен людьми...»

Еще мой дом не заселен людьми
но лебеди оставив эти полки
ушли так далеко и так надолго
что в пору сердце дому надломить

но дом еще людьми не заселен
до понимания не дожил
где на земле добро и зло
его окошки хлопают в ладоши

а ты манежишься и ждешь луча на башне
манежишься и важничая ждешь
как у подножия возникнет разводящий
и хлынет дождь

по берегам что сберегают воды
на воды призванные дом беречь
и мимо возникает речь
ручьи курлычат мимо про кого-то

глотаю капли с веток
читаю мне пчелиные законы
а дом еще людьми не заселенный
еще пустыми комнатами светел.

«Зачем же нимб-окалину мы мнем...»

Зачем же нимб-окалину мы мнем
копаем руды, собираем крохи
какую радость приготовили нам боги
в предвечном милосердии своем

Надолго ли мне пряжи нить натяли
настолько ли насколько я хочу
чтобы по нити как по звездному лучу
по звездному лучу звончее стали

Ни мудрость зодчего, ни глупость очевидца
бессмертные я вас прошу о стали
Стрельцом слепящим в небеса явиться
пить жилы из земли как посох Парсифаля.

«Я видел шелест слышал мак...»

Я видел шелест слышал мак
и днями наблюдал за днями
и листьев желтыми листьями
обрушивался в лихомань

и падали струясь страницы
сливаясь по полу в ручьи
и пить из них резные птицы
с наличников своих пришли

я соблюдал стальную меру
в преображении вещей
складным вооруженный метром
карманной связкою лучей

и пальцы падают ничьи
сливаясь в долгие ручьи.

«Проснись сударик господин...»

Проснись сударик господин
Дай оглядеться на земле
Да я не требую всего
Дай оглядеться на земле
Проснись сударик-го-сударик

Какая легкая пора
когда я с облаком один
когда я в комнате в тепле
когда на свете ничего
не соревнуется горя

Дай оглядеться господин
всего-то горя, что фонарик
забыл один какой-то шарик
и он купается легко

.....
ему упасть не глубоко
ему подняться не беда
.....

«Вот так в четвёртый через третий на десятый...»

Вот так в четвертый через третий на десятый
приходит раз, когда приходит час,
когда в платок сморкаясь полосатый
живешь ты полуплача хлопоча
а что к чему какая в том задача
руками хлопоча глазами полуплача
идешь от насморка носатый

Природа гипсовых богинь размешена в любви
всё за тобой они следят глазами
вот потому готовые и сами
всё за тобой всегда везде твои
и обещают их глаза
оставить гипсовые небеса
всё за тобой с тобой под небесами

Вот так кошунствует богиня
ты тело вещее раздень
всё за тобой твое везде
ведь тело тела не покинет
не для добра и не для зла
вот гипсовая простыня сползла
и гипсовая пыль осела инеем

а что к чему какая там задача
ведь тело тела не продаст
всё за тобой твое всегда
руками хлопоча глазами полуплача.

«И кто когда подумает такое...»

И кто когда подумает такое
такое о тебе с тобой
твое лицо в шагаловском левкое
в сирени дело тело и любовь

а я уже свистящий ветер любви
а я уже и я уже кусками
ком лебедей над озером повис
и клювы выдавлены красными сосками

и где беда в которую вместить
два одинаковых соседних дома
двух мальчиков в парадном стыд
двух девочек обнявшихся в истоме.

«Восстание невидимого неба...»

Восстание невидимого неба
невидимой земли испуг
вокруг пролитой на пол нефти
разноцветений и излук

укрой меня зеленым одеялом
и солнце рыжее из рыжего металла
перекорезненное черточками ржи
поставь на столике как мутное зеркало
сядь руки положи и жди.

«Не дай мне Бог сухого безразличья...»

Не дай мне Бог сухого безразличья
к сим знаменам, к сей вечности людской
я по волне морской калечась плача клича
я по волне морской
иду. я по волне морской

и вот но где и вот
я загнан невесом
полубормочащий полумолчащий идиот
представший пред своим концом

как будто небывалое сбылось
как будто бы я Божий странник
колеблемый от всех огней кострами
и на сердце как будто бы не злость

но одному с любовью мне не вынести
не ведаю не ведаю людской
и самой малой милостыни
я по волне морской
иду. я по волне морской.

«Как мореплаватель уклончиво и туго...»

Как мореплаватель уклончиво и туго
свой путь проводит сразу по воде
под парусом не слишком чтоб упругим
но бьющимся и рвущимся к беде

так поэтических забав ответчик
на легких на воздушных буерах
переворачивается, калечась
в зияющих глаголов страх

и круговое смертное паренье
раскладывается в мозаику свечений
врезается в разрушенные скалы
и обращается летящих стрел началом

сообразуясь с невообразимым
лепечут листья и летят летят
и лепят войлоки младенческие клятв
и озерцо пролитого бензина.

«Нет в этот ад я не пойду. не трогай...»

Нет в этот ад я не пойду. не трогай
мой локоть. не зови
играй в дуду мне дальнюю дорогу
коловращение любви

я возвращаюсь в материнскую утробу
в ту маяту рождения на свет
когда как странник на озерных тропах
я сам себе еще казался тропом

немыслимых возможных бед
куда как пешеход желанный
стремится мечется струится
и вот его уже сопровождают птицы
и мучимые гоном лани.

«...Вот песьи головы задравшись в темноту...»

...Вот песьи головы задравшись в темноту
у Рима вымолив в честь предков доброту
потом склоняются над вами
я не люблю собак собаководов
ручьи курлычат мимо про кого-то
печальными пчелиными словами
но сотворяется застава из коряг
искореняются обычаи и встречи
и песьи головы из всех земных наречий
пчелиный шум искоренят.

«...Но боль свою не затаи от мира...»

...Но боль свою не затаи от мира,
не слушайся горлающих ткачей
и, сокрушая марево кумира,
не будь ничей,
но к Истинному Богу
ладью свою сооружай в дорогу
и двигай, двигай понемногу...

«Надо ли буйствовать маленький нежный Давид...»

И.Л. Медовому

дактили

1.

Надо ли буйствовать маленький нежный Давид
щит твой как знамя
над нами
звенит

Да. Но задавлен звенящим щитом
долго ль не знать мне
где знамя
и дом

где же мой кров
и зачем моя кровь
пролита
где мой народ
и зачем над народом
плита

Надо ли буйствовать маленький нежный Давид
что же мне делать когда по гробам я забит

Будто бы горб
надо мною любовь
от сих и до сих
спрятана в тяжкий одышкой страдающий стих

По вечерам будто черного хлеба ломоть
мне отпускают любовь мою где-нибудь
хилым червем моя прободаема грудь
время меня вам ломать холостить и молоть

Будто не я, а внук золотой Соломон
будто солону оставьте же нас поутру
там под обрывом – ненужную кожуру
что вам с обрезанных псов: я и внук Соломон,
время для вас, близится время времен.

Надо ли буйствовать маленький нежный Давид
где ж мое знамя
где щит мой? – над вами?
Он в небе прибит

Не научусь я давить виноград и любовь свою
ждать вечерами
и ремесло не взойдет надо мною кострами

Только ли ад
там где град
градом битый
где ж кто-нибудь
остужающий грудь
червяками изрытую
черный венец без конца
Соломон! Где обломки венца
золотого венца
царь Давида?

«Солнце, вращайся от боли, стыда...»

2.

Солнце, вращайся от боли, стыда
и доверчивых маленьких рук
маленький круг
в предвечерних часах отвертеться не может
голову сложит
маленький круг
не оставив следа
где же твои облака и беседы синего неба помощник

я в одеяло укутан лежу
что ж уезжаешь планет-деревень помещик
что ж уезжаешь в весенние ночи в звездный свой
Петербург
маленький круг
синего холода бросив между
где к нам от звезд протянулись хрустальные мечики

«Ищи, ищи дурного единообразья в самых причудливых снах...»

3.

Ищи, ищи дурного единообразья в самых причудливых снах
в самых коверканных лицах
там где гроза – тебе надлежит поселиться
там – где леченье: съедающий страх

Крошечный Нюрнберг в мягкой ладони уместится
и суматоха
так крохотно
все перемелет
озолотит и объявит и явит и светит
зерна известий
грошевые мягкие зерна известий

ты ж как ищейка за стройным дурным одиначем
то одиночество видь что на части распалось
и развязалось и вьелось и пало в усталость
и та усталость сожгла его ночи и речи и части.

«Что же ты скажешь астролог...»

Что же ты скажешь астролог
Битва ль меня ожидает
где же набат поутру
холод на росном юру
порох просыпленный с полок
плащ мой намок и набряк
сиверко в горах у прях
стает – как руку протянет
мечик о мечик бряцает
славной туманностью ив зелена
всё расползаются в доскрипу блёсткой картине
где же астролог в пространство прокинешь меня
там мужику – пахотина
а рыбаку – путина
станет – как руку протянет

Афина

Чудесный акушер, кузнец хромой
ну что ты сделал, что ты сделал
ты одарил меня надзвездной немотой
запорошил глаза мне снегом белым

сквозь бормотание мое провел живую нить
чудовища под блещущей эгидой
с неженской грудью с женскою обидой
и ни обнять ее ни заменить

не обогать на площади в квартире
не выслужиться знаньем иль числом
но с жестким сердцем двигая веслом
все по миру идти все в этом мире.

«Лёгок налёт откровенья...»

Лёгок налёт откровенья
лёгок стакан у разлуки
дивною славой овеян
полк напрягающий луки

руки сующий в Каялу
жрущий орущий летящий
нас претворивший для вящей
славы земного металла

Желтые очи набрякли
руки по локоть усохли
так ли или не так ли
плакали мокли и дохли.

«Я жил. спеши и ты...»

Я жил. спеши и ты
связать себя чугунным даром
и над Фаросом на Байдарах
руками небо закрутить

среди очерченных пустот
и синеватого разбоя
оно вихляя над тобою
свой круг осенний повернет.

«Пусть там мы встретимся где небо белой грудью...»

1. Пусть там мы встретимся где небо белой грудью
на горах льет тумана молоко
где сердцу дышится легко
где влажной нежностью опутанные люди

так не спешат, как будто им не вечность
а шаг и шаг и два и – бесконечность.

2. Я на груди у Бога. Море дышит
а губы воздухом пронзенны, солонны
и море-демиург в сердцах у смертных пишет
что в небо и в тебя мы смертно влюблены

и смущены мы были в одночасье
как будто трепетное близилось к нам счастье.

3. Погибельных своих достоинств
павлинье смятое перо
несу за стойку за бюро
как будто гном благопристойный

а тут и пальцев пять и столько же догадок
движений чувств и как назвать их надо

4. Все тянется все очаровано крылато
все вносит в даль и вот зачем их пять
и я опять не знаю как назвать
все чем мы здесь безудержно богаты

что в наших душах превратилось в шаг
что в горный шум окутала душа

5. Укутаны среди людских угодий
мы в нашем сердце так безудержно крылаты
какою силой стали мы богаты
в какой ладони дышат наши годы

кто нам ответит в этой влажной смуте
и ведом ли ответ какой-нибудь минуте.

«Мне мыть посуду за собой...»

Мне мыть посуду за собой
тебе зачитываться Белым
и падать ягодой незрелой
обиженою злой судьбой

Что ж оттого что за столом
мы ласково глядим друг в друга
ведь невеселая подруга
твердит-твердит: пора на слом

Какими чудесами здесь
мы оказались и – так близко.
Итаки нет? Итака есть?
И что за честь
прибиться к берегам где сиверко и слизко

Но вот ведь путь – нальем в стаканы чай
поговорим о дебрях очевидца
и как дороженьке не виться
ты старшая сестра встречай

«Такая малая комната, прибранная наскоро...»

Такая малая комната, прибранная наскоро
на стенках светлых холода печать
лечь и мечтать – вот путь по рекам в Басру
разноязычные матросы, суета

Над головой все беготня пустая
вот одиноко выйти. На ветру
холодная душа растает и устанет
на три ключа держать свою нору

Я растворяюсь в воздухе и сини. Мне надо
из-под низкого неба на суда
по рекам вниз до Басры из Багдада
идущие. Туда.

«Мне хорошо. Как густо день заполнен...»

Мне хорошо. Как густо день заполнен
бездельем и тоской
покой
качает будто волны

Я одинок. Не я умру, не я
мне новое так одиноко снится
змея линия и маня
клубками пестрыми ложится

вот вдаль я за тот утес простерт
и вот я в порошок растерт
и рукава в муке от булок белы.

«Не я не я сгубил этот день это утро...»

Не я не я сгубил этот день это утро
то солнце спалило цветы так гневно и мудро
то солнце палящее только не я не я

схвати мои руки оставь мои руки – уйди
крути этот шар этот круг без меня

ремней и стремян достаточно в мире – лети
то лошади мчатся беспутные – только не я не я

«Христова конница три бешенные „Волги“...»

Христова конница три бешенные «Волги»
без тормозов без славы на ура
давно безумные и как еще надолго
по городу свирепствуют с утра

давя и руша, выворотив фары
орущий радиатор смяв:
«невидящие, начались пожары
золото-рыж ты занялся, Исав.

Тридцатый век придет, косматый занят
козлами, спорами и стариной
испелелю Едом и серым станет
твой купол над твоей страной».

«Изблевал меня круг мой и страна...»

Изблевал меня круг мой и страна
друг мой руку за спину спрятал
кто теперь назовет меня братом
глаз мой рана и пелена

глаз мой пламя и соль на нем
я руками воздух ловлю
и хожу как в потемках днем
днем, когда мною блюют

За стеной моей враг и мрак
всё меня догоняют вплавь
Ты прости мне гордость и страх
только Ты меня не оставь

«Голос Твой звучит не смолкая...»

Голос Твой звучит не смолкая
жилы мои пронизав
и как струна отзовется алкая
рыжий и глупый Исав

Если Твой Голос пеной кровавой
губы Свои запятнав
бьет и орет, Отче, Аве!
я Твой рыжий Исав

я Твой не знающий мира иного
жрущий галдящий я
не расчленивший Голос и Слово
лыко в строку не шья

Как кровь из пор мешается с потом
желтая вязь естества
и прорастает на коже зигота
с миром Твоим родства

черной земли и леса звенящего
темную кровь впитав
я не устану жрущий галдящий
в службе Тебе Исав.

«Пьяный лев и золотая башня...»

Пьяный лев и золотая башня
вольная тоска и лень
если бы не страшный день вчерашний
этот показался б дребедень

но за мной вчера, и завтра
пританцовывает впереди
хлопая в ладоши: автор, автор
рыжий автор выходи.

Одинокое мое наследство
алчный родственник не тянет рук
и на злое девственное детство
опускается любимый друг

три горы огней и неприязни
занят, бронирован и вот
хлеб печет, египетские казни
он печет и хлеб печет.

«Ах, конь, немая слава всадника...»

Ах, конь, немая слава всадника,
он фыркает, ступая, белый,
и мир, как театральный задник,
изодранный и неумелый,

и мир, как шар, и конь из плиток,
а я смотрю – и вот на нем
стальной разнообразный слиток,
звучащий тихо водоем.

Святому Мартину помолимся растеряно,
святому рыцарю, пусть, совесть и сверчок,
он повернул на Запад и Восток —
мне прошлое как полглотка доверено.

Мне полглотка доверено – на пей —
доверено, а я не сделал шага,
от брюк моих не отошел репей,
а на губах уже благая влага.

Здесь ведь не то, чтоб встать и сесть —
не продохнуть, а возле
уже бежит благая весть —
за что? – всё после

расплатимся иль никогда,
если ты выберешься – вот моя награда,
И где беда? Когда беда,
Я – Мать, и мне беды не надо.

И легкой девочкой ломая на ходу
передо мной кусты, она исколотая мчится,
сиделка, утешительница, чтица,
учительница – только бы беду

отвесь. Бред, мука и печаль,
лишь две руки ее и дальше
голубоглазо небо.

«Благодарю Тебя, Господь, за то, что я не лев, не пес ...»

Благодарю Тебя, Господь, за то, что я не лев, не пес,
благодарю, за то, что я труха земная,
что жизнь моя, как стая ос,
метущаяся, отдыха не зная,

что вижу луч и слышу шаг
той дрожи воздуха и запоздалой лани
немыслимо свободное желанье,
когда она спешит, кусты круша.

Сухую кость куста
и поцелуи ног ее ломают,
и мечется она немая,
от жестких солнца и песка пуста.

Но Ты – Господь, и ненавистный снег,
сливаясь, гонит в одиноком крике:
«Благодарю Тебя за Твой великий,
за неустанный Твой, за мерный в сердце бег».

«На мгlistом асфальте закружится странник ненастный...»

На мгlistом асфальте закружится странник ненастный
волчок и надежда, волчок и надежда и вот
сиреневый дым раскрывает дрожащие пасти
и будет проглочен в туманы сейчас идиот

Ах, он повернет, повернет еще вяло
и вот как бы не было, как бы его уже нет
закутает воздух-воздух и облак махнет одеялом
земля его гроб и весна ему волчий обед.

«Мир движется. Он снялся. На колеса...»

Мир движется. Он снялся. На колеса
налипла световая желтизна
не знают отдыха промасленные косы
рельс, не знают сна

Запрели листья под бисквитом снега
и день – зола, да и земля – подзол
уйду в бега. Не остановишь бега.
И это не тягчайшее из зол.

«На голове твоей стая птиц...»

На голове твоей стая птиц
и сама ты как сотня лисиц
и ноги твои, смеясь, летят
разбрызгиваясь на всех путях

твои глаза – я сказал – огромны
белы белки удален зрачок
над очагом горла дрожит язычок
и только руки твои бездомны.

«Комками розовыми воздух нашпигован...»

Комками розовыми воздух нашпигован
сглотнешь простор – и кажется, чтомышь
мы одиноки. Что ты все молчишь?
Да я кричу – попробуй-ка услышь другого

Забавнейший какой простор
рассеянная в поле перебранка
затеянная кем-то спозаранку
да масляно чирикнувший затвор

«Прекрасный город ночью восстает...»

Прекрасный город ночью восстает
из выгребных подробностей Москвы
и неустанный вдаль стремится пешеход
и рыкают из подворотен львы

Прекрасный человек вот мир тебе и град
но за горами Рим. туда ль стремятся ноги
иль только жадному движению дороги
ты так безудержно бесчеловечно рад?

«Слоистый мир, что сквозь меня прошел...»

Слоистый мир, что сквозь меня прошел,
он и печален и туманен,
но светится в нем каждый камень
и грудь деревьев – желтый ореол

решающее слово – одному
боль не вернуть, она вдали трепещет
на крылья зыбкие нанизывая вещи
ненужные непостижимые уму.

Рождественские терцины

1.

...И я вошел в набитый праздником квартал.
Разносчик нечистот меня окликнул строго:
откуда и туда ли я попал.

Но я безмолвно пересек дорогу,
от пят до головы подвижная мишень
для всех от моего до твоего порога.

Тем временем аляповатый день
по-своему окрасил бок слоновый
дома, и солнечным плевком отерши тень

утреннюю, чищенной подковой
дом засиял, густея у двери
отеками небесной крови.

Плюгавые ершились фонари,
и каждый грузовик старался быстрым ором
хоть с кем да хоть о чем поговорить.

Но, лающим застигнут разговором,
я принужден был ехать по Москве,
то там, то сям изматерившись по заторам.

Когда же, наконец, в какой-то сквер
мною плюнули, то окриком как прежде,
меня ошпарил со спины разносчик скверн.

Кусками отпадать пошла одежда
с меня, и я остался гол,
без женщины, без друга, без надежды.

Однако же, прозрачно и легко
мои глаза на шелушившиеся брюки
глядели с невесомых облаков,

и так, на юг простерши руки,
я оставался до исхода дня,
латинский крест зажавши как поруку,

что есть еще надежда для меня,
что в воздухе еще белеют нимбы,

что жало вырвано и жалок сатана,
и это Бог нам посылает зимы.

2.

Меня опять окликнули. Я резко
на клекот оглянулся и увидел:
архангел находил на поднебесную.

По ходу своему подмяв обиды,
злость, неудачу, свежими глазами
он изо всех глядел как победитель.

О, Господи, Святая сила с нами.
Людские взгляды розового лона
небесной памяти пошли голубоватыми снегами.

И так я содрогался изумленно,
случайные слова вымямливая немо,
святой любви свидетель незаконный.

И только и могу, что строго внемля,
отметить как восторженно и чинно
архангел находил на землю,

и этому одна, одна причина —
я карту потерял, не может быть двух мнений,
и не найти пути в небесную отчизну.

Мне изо всех углов зловонные измены —
еще минута – взвоют отходную,
врачуя душу кисло-сладким пенъем.

Еще минута я тебя миную,
то розовый, то голубой архангел.
Ты мимо, я назад – еще минута.

Так сетовал я, сам собой оплакан,
когда смеющийся еврей-священник
на полтоски меня одернул нагло.

Он выговорил чин, жуя служебник,
облил меня и сунул крест латинский,
сказав: «Вы спасены святым крещеньем».

Я вышел в край, где ангелы крутились

и тот священник с животом огромным
невыносимым пламенем лучился.

И Бог приветствовал меня спокойным громом.

3.

На темный воздух, прокипевший снегом,
я, пополам сломавшись, налетел,
заворожен неосторожным бегом,

когда в меня сквозь нищую фланель
просунулся, нашаривая ребра,
нежданный лекарь – мокрая метель,

а снизу вверх заведомо недобрый,
сворачиваясь, бил под облака
тот, кем я был навеки погран:

не ветер – мука и тоска.
Вся наша жизнь лишь обучение смерти,
которая как Дух Святой легка.

И Он глядел, как я ломился в двери,
безумием органным полоща
кипящий воздух через тысячу отверстий.

«Венчается на царство, – Он кричал, – по швам
с натуги лопнувшее тело,
твоя душа венчается, треща».

И я сморкался, мокрою метелью
под вздох, осоловевший, бит навзрыд,
пока душа моя не отлетела,

пока душой, как облаком, покрыт,
двойною тайной связанный заранее
не оказался там, где жгли костры,

заботясь об усталом караване,
не в первый раз перегонявшие овец,
глядевшие на небо в ожиданьи,

и те, державшие угольник и отвес,
совсем другие, но на те же звезды
глядевшие из глубины сердец.

И я учился жить единственной просьбой,
стоящей горла поперек,
чтоб этот мир и этот мокрый воздух

сказали, наконец, что с нами Бог.

Между 1973 и 1974

Ворон и соловей

1.

Не поспеть тебе теперь оттуда и досюда.
Ты попал. Как кур в ошип влип в дорогу.
Расхититель твой смотрит люто
и добро твое роет рогом.

Посреди небес из пяти колес
белой каплей вниз срам на ее губах.
Трутся всласть, выжимают злость
гуси-лебеди на твоих хлебах.

То, что жал и в снопы вязал – не доспал.
Перебегал, перехотел и на черных струях один.
Только что у чужих ворот ключом проблистать
на оставшиеся выходит дни.

Око праздно. Одни плывут
черные струи в нем.
Тать воет, подминая коленом грудь,
рану красную заливая огнем.

Не сладка смерть в чистом поле на полпути.
Но тогда зачем из пяти колес
черной тучей черную думу впустил,
черным гадом к черным гадам уполз?

Ночь без вина. Напрочь нет ничего.
Дичь да погань взрежут да восклюют.
Тонкий стон и ледащий вой
бока твои оплюют.

2.

Ни грамма жизни в нашем сердце.
За разговором цвикнешь мозгом —
пустоты в черепном корсете:
глаза – на ветер, дом – на воздух.

Все расторможено, расхлябанно, висит
рука, но лаской через город

пирог пространства мной пропорот,
и слышишь? – свист.

Во мне наращивался царь —
кувшин для лилии, и постепенно
на стенах локти и колени
мои изобразили вены
и вынесли как на базар.

Как будто рыжая река
на отмель жалкие потери,
но так же вот выносит двери
с испугу пьяная рука.

3.

Небесный красный глаз – вечерняя луна.
Гони, гони, не обращай вниманья!
Что я люблю? Что я с души снимаю?
Вечерний красный глаз – она, одна она.

Что выпало, чего еще желать,
чему еще способствовать, кружиться?
Гони, гони, не обернись. Над жизнью
вечерний красный глаз – луна, луна взошла.

4. *Ода соловью*

Сугубой мерою берется
самомайшая вина
и плоский смех, и высвист плотский,
и даже выговор московский,
обливший землю тусклым воском,
обматеривший дочерна.

Да я-то тут причем? А все-таки.
Да я-то, я? А вот и ты,
когда тебе давали водки,
смотрели в рот, шли на уступки,
протягивали спичку к трубке,
а ты свое и невпротык.

Давай. Чего теперь? Давай.
Необходимый дух тревоги,
порядок, мера, горький рай,

цветы, страсть, сладость и покой —
всё вроде тут, всё под рукой.
Давай. Накатаны дороги.

О, соловей, пускаю песню —
подобье, ласковую, в путь.
И все смешней и интересней,
как у тебя разнообразней,
как у тебя кому-то в праздник
дрожит надсаженная грудь.

О, соловей, и ты, и я
сугубой мерою ответим —
я, что послушал соловья,
ты, что истерикою плоти
расщелкал тысячи мелодий,
но это после, после смерти.

Пока удар, еще удар,
еще возносится ступня,
еще не выдана медаль
тому, кто между нами стал,
чтоб стала жизнь моя проста —
утаптывающий меня.

О, соловей, мой соловей,
за то, что мы не дальше носа
глядим, а нам держать ответ,
установлена в упор на нас —
смотри – бесстыдна и красна,
красна и не утерта роза.

Серей себе до синевы!
Напрягшись продрожат кусты,
весь мокрый мир моей Москвы
уже дрожит в ответ на голос,
на этот голод, этот голод,
который утоляешь ты.

5. Вороний вальс

Одиночество, страх и голод,
многочисленные как брызги,
многочисленные как жизни,
цельнотканые как снега,
как снега там где кончился город,
шаг с дороги и вязнет нога,

взгляд невидящий горд и долог.

Оглянись. Направо, налево
одинокество, страх и голод
шьют и клеят тебе такого
беспризорного мертвяка,
что и рад бы взяться за дело,
да воронья судьба легка
и на белом серее тело.

О, снега мои! Галочьих стай
расторможенный ход по насту.
Если можешь, и не участвуй,
если можешь, и не пытайся,
и меня прости, не пытай,
что творится: кощунство, таинство?
Не пытай и прости – прощай.

Не терзай мою страсть насмешкой,
не испытывай – невтерпеж
даже самая малая ложь,
даже самая малая ложка
дегтя между
нами. Даже немножко,
даже самую малость не мешкай.

Я же болен и болен словом.
Словом, чем-то совсем невзрачным,
жизнью вытертой, сердцем зряшным.
Словом, вот уж в который раз
неудачно проходит ловля,
и опять не поймали нас,
и опять это так не ново.

Рыбаки не ловят ворон,
и бездумно идут стада
или прыскают, кто куда,
и юродствуют на верхах,
сотворивши глухой трезвон:
одинокество, голод, страх,
Днепр, Немунас, Ахеронт.

6.

И ветер, и море,
и ночь – беспризорный мертвяк
в посмертном осмотре

не так одиноки, не так.

В них каркнет ворона,
разбитое звякнет стекло,
а из-под балкона
и кровь соловьем унесло.

Куда как не нужны
молитвы, и впрок
рассыпчатым мужем
восходит восток.

Лежи неподвижно,
лети на строке соловья.
Излишни, излишни
и боль, и надежда твоя.

Конец. Третья ода.

Сегодня недостаточно любви,
и краски слов не радуют, не тешат.
О, одинокий дух трубы
над миром, полным снега и деревьев.
Помешан я на том, что я помешан.
Земля и небо, я остался в третьих.

О, имена любви, о, имена страстей!
Совьешь ли мне, сплетешь ли мне хоть колыбель,
чтоб пуще прежнего и праздного пустей,
чтобы я мог качаться
и стлать тебя, и уходить к тебе,
и возвращаться часто.

Случайный ход наигрывает даму,
как пианист наигрывает звук.
Окраска слов построит между нами
неясный замок, смутный и воздушный —
так мимолетный дух
снимает пенки купно и подушно.

Листая засоренный бранный мрак
души, какие странные припомнишь речи:
тоска, я твой насельник и овраг,
по мне ручьи твои бегут, я комнату твою храню,
обнажены белым-пылают плечи
твои, по грудь опущенная в мельтешню.

О, имена тоски, общественной нуждой
вы вызваны, и вот неразлично
огромной цельностью, недробной чередой
вы движетесь, а на исходе сна,
как Божий лик, искомая причина
все так же недоступна и ясна.

Мы подаем чувствительно и с жаром
на вход чужой души прекрасно-мелкий звук,
и отзыв затрепещет жалом
в пробитом ветреном пространстве,
все-все уйдет, и краски схлынут с рук
и превратятся в страны.

Я мир пою, оставленный ни с чем,
сравнимый с колыбелью,
сплетенной женщиной в немыслимой мечте
очнуться и проснуться не одной
и осторожно, чтоб не разбудить, сесть на постели,
качаться и смотреть в окно.

Я мир пою, не зная, что в ответ,
чья зависть все пожжет дотла,
чья жажда жить на белый свет
нашлет пустое место,
мор на души, а по тела
и трус земной, и хлад небесный.

Воззри на руку, вытянутую вперед,
ладонью вывороченную вверх,
я мир пою, в котором не поет
ничто, но не дал слова
мне Бог о том, как ходит зверь,
как перхает и каплет злоба.

Упорно заставляя славить мир,
Ты, Боже мой, за что такую кару
избрал безвидному, который вдруг умри
и ничего? За что Ты дал мне голову
и холодно глядишь, как я тут шарю
и жалуюсь, что холодно мне, холодно?

Между 1974 и 1975

Песни поезда № 32

1.

Не получается опять
на самом том же месте,
и вспять торопятся созвездья
на то же место встать.

Кого я заслонил собой,
чьим именем я самозванец
втесался, втерся в общий танец,
сам убежденный, что мол свой?

Не ломит кости календарь,
не прыгает на грудь утеха —
я снова тут, мне не до смеха,
я сдал, и я совсем не царь.

Я самозванец, вор имен,
имен неизвестных, нестрашных,
и верен прелести вчерашней,
и тут же ветром изменен.

Все крика жду и жду: держи,
и страхом измочалю
себя, что нет как нет начала
под оболочкою души.

Но что терзаться и орать,
к чему нам торопить события?
Москва пуста, Москва забыта,
и звёзды повернули вспять.

2.

Я ехал в поезде, и час
не мир менял и не заветы.
Колеса в ночь мою стучась,
просили продремать до света,

и слово дикое «езда»
не заставляло улыбнуться,

когда встречались поезда,
чтобы, конечно, разминуться,

но купленный покой купе,
но свист приемлемый в три носа,
а – выйти в тамбур – на губе
картон невкусной папиросы

переставляли всё и вся,
меняли нас на нас самих же,
а в выси пустота неслась,
над миром ко всему привыкших.

Потом, как прибыл, невпопад
случайно то не получилось,
чему я был тогда бы рад,
и я узнал с какою силой

вдруг можно захотеть не пить,
не есть, не спать, не жить от злобы
на то, что мир еще стоит
в грязи на дряни и холопах.

3.

О, Боже, я не понимаю, Ты
меня оставил понемногу.
Как может человек найти
туда, туда, где Ты дорогу?

Как может человек один,
или расспрашивая близких,
понять, что он Тебе как сын
и доверять Тебе без риска

услышать хохот за спиной,
увидеть на окне решетки,
когда над миром образ Твой
провертится легко и ходко.

Только не зная, кто Ты есть,
я поклонюсь Тебе, не зная,
и если мне укажут: здесь,
я место обойду по краю.

И самозванный, и глухой,
не утверждая, не теряя

и повторяя: Боже мой,
я место обойду по краю

и буду, ужасу учась,
смотреть открытыми глазами
на несмущающую связь
между Тобой и слезами.

4.

Не делай глупостей, мой зверь,
не позвони, не обнаружься,
а, напружинившись, обрушья
на эту запертую дверь.

Нет недозволенного нам,
кроме того, сего и в третьих
претит нам, как легко заметить,
что всё открыто небесам.

Мы повторяем: поделом,
когда отчаянный ребенок
с неровным и глубоким стоном
с размаху бьётся в стену лбом.

Восславим то, чему верны,
и отвернемся недовольно
от тех, кому первопрестольны
другие платья и штаны.

И сменим то, чему верны,
поскольку от него устали,
поскольку сами мы вначале
себе сегодня не видны.

И я не с поезда. Я – нет,
я был рожден в родильном доме,
а прадед вовсе на соломе
явился видимо на свет.

5.

За жизнь свою я не успел связать,
я не успел сказать
того, чего хотел.

Мне тусклый свет всё время бил в глаза,
когда я клял ночные поезда
и залезал в оплаченную клеть,

когда, хватая душу под уздцы,
я заставлял ее бежать по кругу
и вспоминать ненужную подругу,
испытывать летальные концы.

О бремя розы! Как ты далеко.
Я проиграл свое благое время,
прокинул душу и ушел за теми,
кого не знал и не любил кого,

но есть ответ, и он предельно прост.
По крайней мере так считается,
по крайней мере всё вокруг кончается
и вот перед тобою закачается
тот самый пресловутый мост
над водами несчастья и отчаянья,

но столько раз я пепельной водой
нырял в зеленый трюм планеты,
что мне не дать достойного ответа
и горнего не приобщиться света,
не протянуть вспотевшую ладонь.

6.

Как пьяница за угол магазина
зайдя, вышваркивает пробку из фугаса,
и пойло красное сочится по мордасам,
вошедший в долю поджидает половину,

дома прекрасно розовеют над рекою,
над распушенным облаком полоска сини,
так поезд входит в мир из инея
мечтой какою-никакою,

так пустота готовится сменять
классическую форму пирамиды,
фаллическое зданье МИДа
на семицветную орловскую печать,

на женщину, хихикавшую вроде
еще вчера на прелые остроты,
на вдруг открытую на повороте

любовь и ненависть народа,

что было, есть и будет пустотой,
принявшей вдруг устойчивые формы,
чтоб через час из приоткрытой фортки
расплывшись в воздухе пластом

и быть – не быть, как до сих пор
тот с опорожненным фугасом
шкубает у молочной кассы
по гривеннику на повтор.

7.

Опять слепая желтизна,
то есть зима, то есть опять
неясно сколько еще ждать.
Когда, когда еще весна.

Когда? Когда еще. Еще
мне предстоит и то, и это.
Так беззаветно безответен,
что самому нехорошо,

а вот чего наворотил
в такой бесцветной пустоте,
что кажется хоть на хвосте,
а есть какой и жар, и пыл.

Затеи разные умрут,
а сердце выскочит на площадь
шатать, калечиться, ворочать
или еще чего-нибудь.

Но это выдумки шутов,
чтоб оправдать свою эпоху,
урвать, когда придется, кроху,
чтоб не остаться без штанов,

чтоб то, чтоб сё, чтобы оно,
жизнь мое, казалось нужным
и чтобы не было нарушено
бесцветное черным-черно.

8.

О край песиголовцев! Лаает
иерарх на поезд, уходящий за границу.
Жрец захлебнулся. Обезумев, Пасифая
неразрешенным плодом разрешится.

О как страшны сухие роды бреда!
Где роза? Где соловушка? Синей
от холода позорная победа
над невесомой, не моей, над ней —

душой. Произошла подмена.
Уже произошла. Еще
на время скрыт тот самый несомненно
допущенный хоть где-нибудь просчет.

Я утверждаю, что не утверждаю.
Я повторяю. Только потому,
что и живу, не придавая
ни смысла слову своему,

ни слова хоть какому-нибудь смыслу.
За что мы отказались от любви,
за что соплёй на воздухе повисли
ни к небесам, ни до земли?

Я в поезде. Я между тем и тем,
а что творится там и там:
сплошная тьма или совсем
не до меня, какая там уж тьма!

9.

Когда надсмотрщик в златотканом облаченьи
невнятно каркает спиной к нам,
становится мостом. Через него прощенье,
через него и нелюбовь к мостам.

Не залупайся жизнь. Я не имею вас
не только наяву – в виду.
Мне просто снится поезд на ходу,
который в поезде другом увяз,

безмолвным криком колосится дождь

на еле видных плешах за окном.
Надсмотрщик порицает ночь,
когда вздымает хлеб с вином,

за то, что малая, простоволосая
худыми бедрами трясете вы
на всех углах захватанной Москвы,
а поезд бьется и меня заносит.

Я был рожден в такой понтификат,
мои архонты дали мне такое,
что вынужденный падать и вставать
я не найду ни мира, ни покоя.

Жрец обезумел. Поезд осужден,
а чернота – одно отсутствие цвета.
Наш заговор уныл и беспредметен.
В сорок шестом году я был рожден.

10.

Жизнь! Какою злой забавой
вздуроджила меня?
Как ты поманила славой,
как ты вырастала! – Встала
и стоишь ночной заставой
греешься возле огня,

вертишься как на дозоре,
флюгером в ушах скворчишь.
Жизнь моя пропала в море,
в мусорной ненужной ссоре.
Сердобольные врачи
понимают наше горе.

Понимают, поднимают,
опускают, засыпают,
черной кошкой низко-низко
пробираются к трамваю,
объяснительной запиской,
морщась, на хуй посылают
наших недовольных близких.

Шаг за шагом, день за днем
мы с тобой идем вдвоем.

11.

Повсюду пепельное утро,
на столике багровый чай,
а за стеною златокудрой
моё желанье и печаль.

На время я тебя оставил,
площадка голая светла,
ступенька стертая блистает —
поодаль жизнь моя прошла.

Я целиком, еще не рублен
с того булыжника пошел,
смолой задет, лучом обуглен,
с тавром вколоченным в плечо.

О, если бы заметить сразу,
о, если бы понять, что нет
отмены сделанному, сказанному,
нарвавшемуся на ответ!

Но и клейменный бык бессмыслен.
Булыжник сер. Она туда,
а мне – ради неё – всё кислым
шибает в нос моя езда,

моё разбрызганное лето,
рукопожатья и толчки
и чай до розового света
на пепле утрешней тоски.

12.

Тот, играющий со мной
белый отблеск дней-огней,
этот, черен и проворен,
пучезарен, тучевздорен,
чьей-нибудь хотя б виной
кто-нибудь хоть покрасней!

Но дебело черно-бело
поездное сердце вдовье —
чушкой одервенело,
шавкою осатанело.

Тот ли поезд этот поезд,
на котором еду я,
не по делу канителю,
украшаемый любовью,
тело пестрое крутя.

Дело наше нехитро:
темное осталось темным,
светлое всегда добро,
а вот жил и вот не помню.

Я стою посередине,
зеленею весь в слезах.
Что осталось в поездах?
Я не помню – ты невинен.

Все я выжал из того,
что намеком-экивоком
можно выдать за тавро
в размышлении глубоком.

13.

Балдеж, кто понимает. Подрастая, мы
становимся похожи на верблюда,
и съеденное в детстве блюдо
всё прыщует соками в умы.

О, произвольный выворот горба
налево и направо и налево!
Гуляй туда-сюда краюха хлеба,
двоюродная спелая сестра.

Бабуля, ах, бабуля, ах, бабуля,
ну, неужели так уж никуда?
Я жить хочу, меняя города,
а ты висишь луной на карауле.

Любая блажь доказывает лишь,
что я не самозванец, я мол здешний.
Рванусь, а ты уже поспешно
и наплывешь и тусклая стоишь.

Скажи, но если имя – это имя,
а мы лишь удержаться не сумели,
а важно то, что есть на самом деле,
как жить мне, если я не с ними?

Но ты мне говоришь, что «есть» не только, что
не «что», но даже не ярлык,
а этот звук и тот клеймённый бык —
пустое решето и решето.

14.

Не может быть сомнений:
я умер для тебя.
Зачем же в снах весенних
мне о тебе трубят?

Зачем тела прошедшие
слагаются в слова,
идущие про женщину
знакомую едва?

Зачем всё собирается
и, скручиваясь в нить,
старается, петляя,
тебя одну избыть?

Ведь я подвластен времени,
и в зимних поездах
я видел белой темени
планирующий прах.

Казалось, отвязалось
и кубарем стремглав
под насыпь проплясало
из сердца да из глаз.

Зачем же, не тоскуя,
вхожу в небывший миг,
где вечность поцелуя
слетает на язык?

15.

За то, что день настолько мил,
за то, что ночь полна
наружу вылезших светил
нам на глаза со дна,

с такого дна, которое
не выщупать – смешно,
что мы войдем в историю,
упав на это дно —

так вот за то, что есть еще
возможность не влипнуть,
уже объявленный щелчок
попридержи опять,

дай право жить и право быть
счастливым собеседником
и не пиши меня в рабы
ни первым, ни последним.

Вести себя как господин,
вообще пристало ль Богу?
Мне, кажется, что я один
и не спешу как блудный сын
в обратную дорогу.

16.

Не дли трагический надрыв,
не обольщайся рваным краем,
душа моя, сопи, играя,
попрыгивая через рвы.

Повизгивая от тоски,
своей обидою дурачась,
чего ты так серьезно плачешь,
чего ты колешься в куски?

Не соглашайся и судись.
Кому нужна твоя растрата? —
взыскующий паяц пространства,
весь мир на полдень полон птиц.

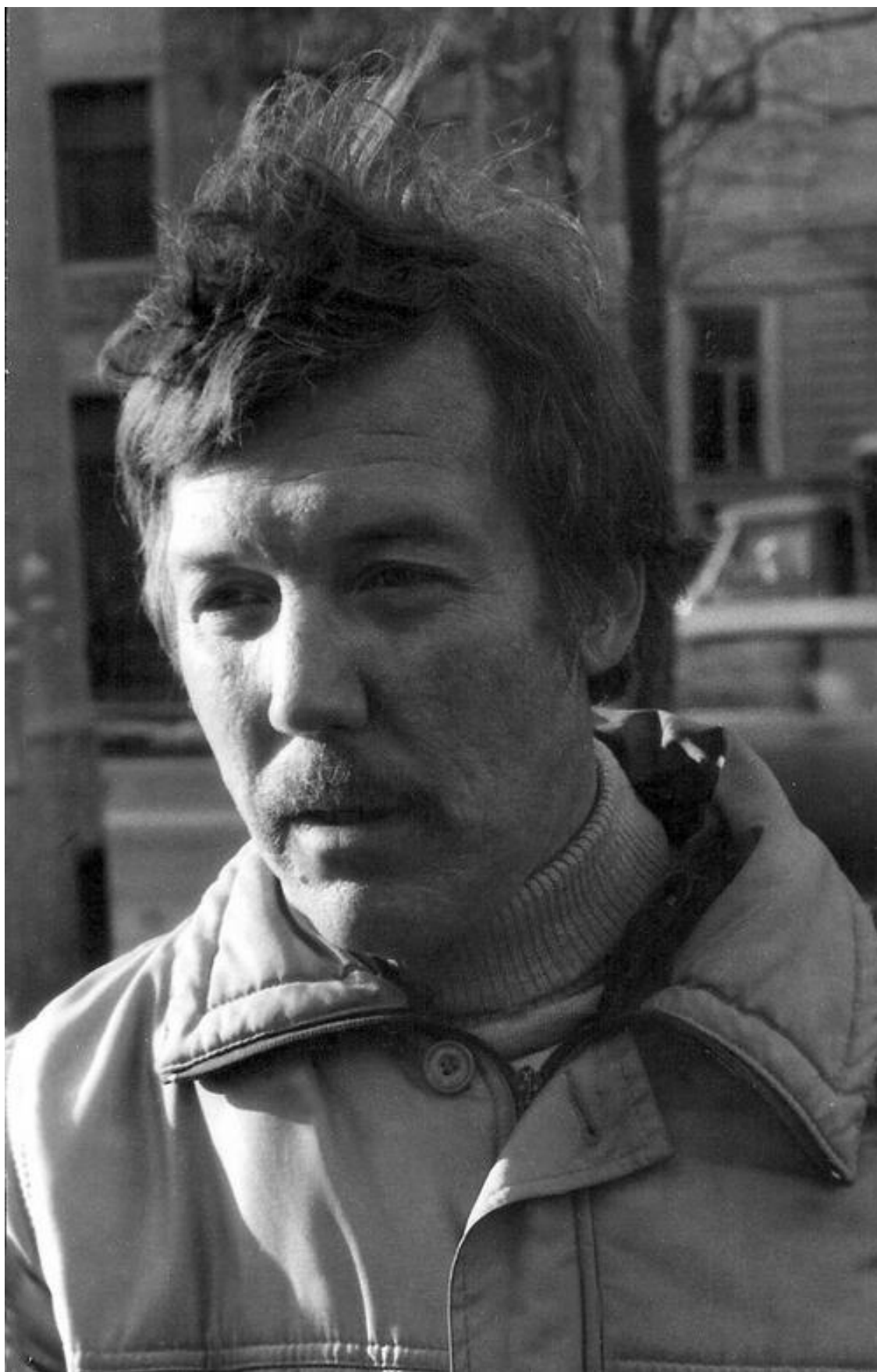
Он время, кой-где подогнув,
теперь укладывает лихо.
Дуреха, не хватает мига —
и можно будет отдохнуть.

Но ты и тут не согласишься,
тычь пальцем и не прерывай:
поставила? – давай играй
на этот мир, на эту жизнь.

А поезд, город – только блажь,
как сшибся конь за шаткой стенкой,
как надоумилась студентка
повольничать через соблазн.

Между 1976 и 1977

Ожидается смех, страсть и холод
Стихи 1973–1984 годов



«Полузащитник Бабингтон...»

Полузащитник Бабингтон
возникший среди славянских штудий
и та, в кого я был влюблен
и та, в кого еще я буду

К отлету страдная пора
и так не хочется прощаться
хоть не секрет, что со вчера
готова смена декораций.

И так не совладать с собой
за что, твержу, за что мурыжат,
за что усталость, как любовь
кошачьим воплем рвется с крыши.

И так весталка хороша
жеманница, лиса, Елена,
что я зажмурюсь, не дыша
стреляю в яблочко с колена.

Но не забыть, что и поныне
под Изабеллою Перон,
живет в далекой Аргентине
полузащитник Бабингтон.

«Но не настолько умер я...»

Но не настолько умер я,
чтоб как щенок кудрявый
от своего житья-бытья
бежать за легкой славой.

И не настолько здоров и бодр
толкаю двери в старость,
чтобы себе наперекор
прожить то, что осталось.

Я ленту нежную люблю,
забытую на ставнях,
и я скорее перепью,
чем что-нибудь оставлю.

Не зря мы свиделись, не зря
пустынною любовью
и ты забудь, что умер я,
я проживу тобою.

«Когда-нибудь приходит смерть...»

Когда-нибудь приходит смерть
и в нашу комнату и в нашу
заправленную салом кашу
и сердцу тукнуть – не посметь.

Тай, тай душа, гнилой весною
валясь в блестящие глаза,
я только и хотел сказать,
что сердце все еще со мною.

И ты, мой ангел голубой,
пришедши губ моих отведай
и смертоносною победой
посмейся над самой собой.

«И кинула: Звони! – Зачем?..»

И кинула: Звони! – Зачем?
мне только бы успеть на пересадку,
я призрачен и без остатку
весь умещусь на собственном плече.

Напевный холод одиночества
опять к себе меня влечет.
Монахов вечное отрочество
как незаслуженный почет.

Густея болью и тревогой,
дорога зыбкою рекой
протянута от нас до Бога
и кинула – Звони! – На кой?

Я так спешил на пересадку,
прыжком срезая переход,
роняя драгоценный лед,
голубоватую оглядку.

«Твои горящие глаза...»

Твои горящие глаза,
моя бесцветная усталость
вдвоем уходят в небеса.
Что с нами случилось? Нам осталось

через плечо прокинуть взгляд
и врозь, пока жиреет сумрак,
податься неспеша назад
и доживать, ополоумев,

и доходягой в высоту,
не глядя прыснуть с разворота,
хотя еще горчит во рту
невычищенная забота,

и дух мой слабый и немой
заклинило в плечах усталых,
и повторяю: Боже мой,
что с нами случилось, нам осталось?

«Любовник должен быть смешон...»

Любовник должен быть смешон,
смешон и не настойчив,
затем, чтоб оглянулся он,
не доходя до точки.

Не доходя, душой в кусты,
а головою в плечи,
он две минуты суеты,
слиняв, сменял на вечность.

Любовник должен быть смешным
и в общем равнодушным
к тому, что женщине с другим
достойнее и лучше.

И рук, и губ посторонясь
с холодной опаской,
и так он полон про запас
одной скользящей лаской.

Но поутру, взлетевши вверх,
уже в небесной смуте
он дал бы жизнь и дал бы смерть
за эти две минуты.

«Тот хрусталь, который ты дала...»

Тот хрусталь, который ты дала,
понадеявшись и глянув со значеньем
за спину мою, где два крыла
на асфальт отбрасывали тени,

я потом с одежды собирал,
тряс в ладони и ловил по звуку,
будто бы играя жал и жал
тонкую натасканную руку.

И ничем не выдам то, что мне
сьобезьянничав пошла навстречу
женщина, которой нет дурней
с тонкою натасканною речью.

Нет дурней ее и нет сильней
и печальней нашего союза.
Женщина на облачной волне —
легкая моя, благая Муза.

Потому-то ворох за спиной
не прими за ангельские крылья —
я оброс той облачной волной,
в милый час она меня прикрыла.

И меня ограбить и продать
ни одна моя любовь не сможет —
то, что было, я уже отдал,
то, что будет, я вперед ей должен.

«Поэт не может поумнеть...»

Поэт не может поумнеть,
поэт способен только
вымаливать учуяв смерть
одежду и застолье

у Бога или у властей,
у предков, у потомков,
у собственных своих страстей
вымаливать – и только.

Равно у тех, кто навзничь лег,
у тех, кто стал за правду,
нежирный попросить кусок,
в душе боясь: отравят.

Так сунь поэту на обед
и что-нибудь из платья,
а то что жил он как поэт,
так он за все заплатит.

«Стихи – предлог для танцев...»

Стихи – предлог для танцев,
и горечь и любовь
один зевок пространства
для легких каблучков.

Легчайшее насилье —
над розовой мглой
стекают шапкой крылья
расправленные мной.

Туманы окоlesiц
на городской черте —
пролеты легких лестниц
означенных вчерне.

На самый легкий воздух
душа моя взбежит,
и рано или поздно
я слягу без души,

возьму в свои разлуки
одну навек одну,
и протяну я руки,
а ног не протяну.

«А ведь и вправду мы умрем...»

А ведь и вправду мы умрем,
тогда... тогда что будет с нами?
По одному, вдвоем, втроем
мы пролетим под облаками.

Ты – каждая, а я – никто.
И что все это означает?
И поддувает полотно,
захлопавшее над плечами.

Сжимает кратко и легко
и в пальцах скручивает туго,
и мы летим одним комком,
щелчком направленные в угол.

«Все проходит. Постепенно...»

Все проходит. Постепенно
даже воля и судьба
чествуют согласным пеньем
белопенную тебя.

Что настанет, что устанет
и совсем сойдет на нет,
что, перелистнув, оставит
в розовом шкафу студент.

На зеленые поляны
кучки снега побросав,
осень вдруг ушла туманом
с головою в небеса.

Но на протяженьи взгляда
три-четыре в пустоте
дерева почти что рядом.
Ты нигде. И я нигде.

«Стареющее – слов придаток...»

Стареющее – слов придаток —
пустое чувство бытия,
подверженное звездным датам,
крестам надзвездного литья,

прочерченное и размыто
едва заметное вдали,
к какому новому открытию
мы в зябкой немоте пришли?

Вне тайного немого глаза,
помимо клятого труда
упущенное и несказанное
непрожитое навсегда.

«Утрата ветки и утрата...»

Утрата ветки и утрата
возможности иного мира
соизмеримы неразъято,
нерасчленимо обозримы.

Душа, подвластная любому
и слову, и сто раз на дню
обменом нажитому дому,
и дом подъевшему огню,

не может из своей неволи
смолчать от скорби и от смысла —
ей лишь бы боли и любви
набрать на плечи коромысла.

«Мужчина, легендарный, как истерика...»

Мужчина, легендарный, как истерика,
вдруг не в свою квартиру погружен.
Он одинокой женщиной рожден
и на нее надет как бижутерия.

Она его вздымает над столом
и кормит грудью и ласкает ягодицами,
натасканными пальцами кичится
и на живот сочится языком,

а он сучит ладонями лицо,
опустошенный, опушенный пеплом,
он жадно ест, чтобы душа ослепла,
грудь замерла и сердце растеклось.

Ему являются в прекрасной тишине
любовь к нелюбящим и нежность к одиноким,
законы с Запада и свет с Востока,
возможность жить и лампа на окне.

«Клекот, пепел, лай ворон...»

Клекот, пепел, лай ворон,
– как отрывиста земля! —
из веселых похорон
возвращался пьяный я.

И, психованно мутясь,
выбегал из разных комнат
жалкий князь, но все же князь,
о котором мы не помним.

Он когда-то вел полки
и на самой верхней полке
полон самой злой тоски,
самой черной скуки полон.

Шел я недоумевал,
шел и кашлял, шел – качался,
кругом шла и голова
без конца и без начала.

Полон немощи сухой
рядом прыгал князь-воитель.
Беззаботно и легко
я в гробу все это видел.

Две пол-литры, разговор,
вечный памяти объездчик
расчихвостили на пробор
зачехленные обеды

и живу не гоношась,
вспоминаю да тасую,
так что прыснул сбоку князь
в мою голову косую.

«Бесконечна, безначальна...»

Бесконечна, безначальна
ты живешь одна в печали,
мир прошедший пьешь из чашки
потихоньку, понаслышке
и листаешь злые книжки
и заветные бумажки.

Ты пророчишь и хохочешь,
ты хихикаешь и прячешь
столь прославленную пряжу
столь прославленную ночью,
безначальна, бесконечна,
мною прохожим покалечена.

Ведьма, ты скажи, что ведаешь,
злыдня, ты скажи, зачем
желтой постаревшей Ледюю
ты, пока я тут обедаю,
виснешь на моем плече
и вообще..?

«Усталость говорит мне о любви...»

Усталость говорит мне о любви
побольше, чем покой и крики.
Пусть счастья нет, но рождена великой
не на земле, но для земли

усталая любовь. Дома перед закатом
так терпеливо берегут людей,
что позавидуешь: какой удел
дал Бог таким позорным хатам.

И сам-то рыло трешь, когда
после всего ко сну потянет,
когда на мир, на всё небесной манной
усталая любовь ложится без стыда.

«Не приведи, Господь, опять...»

Не приведи, Господь, опять
позариться на чьи-то чресла.
Мне даже тяжести небесной
хватило потом провонять.

Весна дебелой синевой
на рыжий сумрак навалилась,
и холмик из-под тала вылез
лысеющей головой.

Душа, умерь привычный голод
и жизнь не почитай за честь.
Есть мир и в том, что ты расколот
и будешь впредь такой, как есть.

«Гул размашистый и гомон ...»

Гул размашистый и гомон —
маятник. Туда-сюда
ходит жизнь. Одно к другому:
холода и суета.

Пуст мой день. В судах от пыла —
дай Бог! – не вспотеет мы.
Лишь на память от светила
тени на стену тюрьмы.

Положившая предел
всякому, кто знает меру,
уводящая от дел
всякого в свою пещеру

от прославленной, от той,
где от сырости завелся
я, фея легкая с косой
за спиной или в руках,
посиди со мной без пользы,
помолчи со мной впотьмах.

«Кому смешно, кому совсем не нужно...»

Кому смешно, кому совсем не нужно.
Великим множеством душа моя полна,
и, будто черноморская волна,
любая точка в ней гудит натужно.

Картонные не глядя брось круги,
раскрась оставшиеся лунки,
и станут звезды-недоумки
топорщить рваные куски.

Слизнем и повторим посев
еще, пока в полях событий
два-три бугра и пару рытвин
не вычленим почти у всех.

О как прекрасно и остро
внезапно сказанное слово,
чтоб в мире стало в меру ново
и в меру жестко и старо,

но, складывая меры слов,
обмолвки и недоговорки,
на те же дыры и пригорки
напоремся в конце концов.

Жжет обоюдная вина,
и множество зудящих точек
вот-вот и выпростают почки —
настанет ражая весна.

Я все договорил, доплакал,
собрал картонные круги,
кому-то не подал руки —
промазал. И промазал лаком.

«Синим утром, серым утром...»

Синим утром, серым утром
летом или же зимой
глупо это или мудро —
из дому иду домой.

Я не замечаю часто
этого, того ли дня.
Чувство города и часа
ускользает от меня.

Небо слепо и пушисто,
строчки точек надо мной.
В воздухе пустом и чистом
галка – буквой прописной,

воробья совсем немного
и помечена земля
ласточкой – заметкой Бога,
сделанною на полях.

И не просто станет просто,
если жизнь моя прошла, —
разрешатся все вопросы,
завершатся все дела.

В синем небе, в небе сером —
не оплакивай меня! —
воздается полной мерой
чувство города и дня.

«Поэты не подвержены проказе...»

Поэты не подвержены проказе,
простуде, проституции и просто
они имеют это зараз,
когда рождаются,
они начерпывают пригоршней коросту,
когда потянет почесаться сзади.

...и пепел падал на рубашку...
Страшная история. Поистине мы не умеем жить.
Когда он снял бабешку
на набережной, шашь и шип

раздались за спиной. Шесть тысяч пар
ленивых глаз не повернули звезды,
и ветер наносил удар
морозный

за ударом. Он знал, что запаршивел и набряк.
За молом ничего не различая,
какой-то плеск и блеск в начале ноября,
он видел, рвут ночующие чайки.

Будучи никем, ничем
и злясь на это, от этого и посвежел,
и словно белый ком он разрывал плечом
нависшее воздушное желе.

...и пепел падал на рубашку...
Ему хотелось. Что ему хотелось?
Ключ, луч, колода, лодка, ложка, башли,
калоша, ложь, проласканное тело

не глядя. Наливался день гранатой
и разрывался трещиной.
Так сеть любовной ярости по надобности
вылавливает женщину.

Мы не решаем ничего.
А если непокорны,
тогда плевков. Люби плевков,
а то сдерут со шкурой.

... и думал он. Так думал он,
отряхивал рубашку
и затаен, и затемнен,

ключи, колоду, карту, бабушку.

О, след в ночи! О, холод – холм,
ты надо мной. Который? Спорый
игрок заваливает норы,
все входы-выходы замел.

Нет сил по чину расставлять
ля, си, до, ре,
нам так и погибать в норе,
нет входа-выхода. Сопля

свисает, бьется на ветру
от холода. Куда? Умрем.
И ходит розоватый холм —
когда-нибудь – куда? – умру.

Не напиться звездной кашей,
не жить оружием суматохи,
о, помощнее дай, Бог, ноги
в такой плохой, в такой ненашей

жизни. О, след в ночи! Разве,
ну, никак, никак нам с Тобой?
А мне – этот холодный праздник?
Что мне? Так и любой.

Так думал он. А я не думал,
ноги зябкие разул.
Я бабешку не снимал,
я не делал сунул —
вынул. Честно лег и враз заснул,
вовсе не сходя с ума.

От прекрасных красных грез
я лежу балдею, рдею.
Кровь моя – казюк с евреем,
боль моя дороже роз.

На щеках моих щетинистых
кровь моя дороже роз,
горечь благородных лоз
плещется в глазах общинных.

Я живу не сам собой:
рядом, скрыт от орд монголчьих,
рвется, сука, из-под толщи,
из-под толщи голубой

Китеж, Китеж.
Посмотрите ж,
как я расцветаю
в стаю
окружающих друзей
разносоставных кровей.

Вот колонной с переломом
с пушкин-гогольских бульваров
выливаются на набережную то ли Владик Гимпелевич,
то ли Женя Афанасьев,
то ли Люфа, то ли кто.
О, колонна забубена,
крытая ноябрьским варом,
управления Минздрава, отделения финансов,
геооползенькустов.

Нельзя сказать. Все остается втуне.
Безблагодатен выпался в день именин.
Плыви мой член. О, где мой член потонет
в день именин не изменен.

Поэты не подвержены тому,
о чем он думал, потому что сразу
они имеют всякую заразу.
Того – вот так! а это – не поймут.

«Нет, не белая луна...»

Нет, не белая луна,
не молочный цвет разлуки,
а твоя рука – вина,
что мои ослабли руки;

и не голос крови злой,
и не добрый голос крови,
что оставил я весло
ради сладкого присловья.

Нет, не белая луна,
не судьба, не голос крови —
ходит медленной любовью
головой моей волна.

«Не прикасайся...»

Не прикасайся —
дым рассеешь,
отчаянье в душе поселишь,
а так —
все обойдется может стать.
Не прикасайся.
Молчание – веночек,
отчаянье – колпачок.

Здесь твой, а там чужой порог.
С чего, скажи, прийти заботам
грести не ко своим воротам?
Но как стрела запущен впрок,
лети трагической ошибкой,
чтоб в общем немощный и гибкий
ты постепенно изнемог.

И будет так легко, Мария,
как будто свежее письмо
пришло на завтрак вместе с хлебом,
а утро отдает зимой,
а Марфа говорит: «умри я —
я стану небом».

«Я доволен белым снегом...»

Я доволен белым снегом,
карканьем ворон,
легкой водкой у ворот
на двоих с калекой.

Обстоятельно смеясь,
заскочивший вдруг,
мне рассказывает друг
путаную связь.

И не в радость, и не в грусть,
не здоров, не болен
выпью и доволен
тем, что жив и пуст.

«Нарушил девушку заезжий конокрад...»

Нарушил девушку заезжий конокрад,
перевернулось небо над Тамбовом,
кому-то повезло, и он подряд
в который раз на всем готовом.

Луна плывет. Рождается душа.
Не уследишь за нитью разговора.
Что с нами будет, если не дышать,
не путать жизнь, не ввязываться в споры?

Брось этот стих. Какой еще бедой
ты не связал себя? Иди отсюда.
Кому-то повезло, а нам с тобой
не много жить на сданную посуду.

«Какая легкость в этом крике...»

Какая легкость в этом крике!
Туманный кашель, мелкий скрип —
и все, что кажется великим —
улыбка на устах у рыб.

Пяток участков торопливых —
я улыбаюсь, руку жму —
и просыпаешься счастливым,
не понимая почему.

В оркестре мертвенные звоны,
троллейбусы и тишина,
а на опушке отдаленной
упругая растет жена.

О, лес крутой, о, лес начальный!
Полуопавшая листва
не притомит, не печалит,
а только золотит слова.

Прощай. Я тут по уговору,
а вы: мой брат, моя сестра
с утра на огненную гору
свалили тихо со двора.

«Когда пьешь в одиночку...»

Когда пьешь в одиночку
сбегаются все мертвецы,
когда пьешь в одиночку,
будто двигаешь тачку,
ветер поверху низом проходят отцы
когда пьешь в одиночку
сбегаются в точку.

«Рано светлая любовь...»

Рано светлая любовь
спелым облаком предстала,
рано хлынула сначала,
рано и потом насквозь

обувь промочила, шилом
по подошвам щекотала,
рано насморком сначала
хлынула, глаза слезила,

мыкалась, звала скотом.
И зачем соединила
непричемное потом
с тем, что было, с тем, что сплыло?

«Страшно жить отцеубийце...»

Страшно жить отцеубийце
непослушны руки брюки
мир как праздник вороват
добр, но как-то очень хитр
тороват, но как-то вбок
страшно жить отцеубийце
все кругом играют в лицах
весь души его клубок.

Ах, кому по полной мере,
а кому ее по пол,
ну, а кто до отчей двери
сам по воле не пошел.

Обернись душа нагая
бесноватая душа
вот такая же шагает
загибается крошась.

«Перед Богом все равны...»

Перед Богом все равны
почему я восхищаюсь этой песней
перед Богом все равны
мальчик строит города из-под волны
мы глядим, поскольку это интересно.

Свете тихий, свет твой тихий разметал
шаровой, упругий, теплый, строгий
тот, что призрак, и свистит в ушах металл
и стрекочет мастурбатор у дороги
в голубой дали вселенной ноют ноги —
это свет твой мое тело разметал.

Показавшему нам свет поем и руки
воздымаем, опускаем, воздымаем
в шаровом упругом теплом строгом,
где полно богов, – одни лишь стуки
шорохи и мороки, и боком
мы проходим, ничего не различаем
показавшему нам свет поем и лаем
сытым лаем говорим друг с другом.

«Ты пришел. Мы подняли руки – сдаемся...»

Ты пришел. Мы подняли руки – сдаемся.
Ты запел. У нас опустились руки.
Свете тихий, как мы пойдем друг друга
и – ну, как мы споемся?

А тем более жить без надежды с надеждой
без Тебя утверждать, что Ты
здесь до скончания пустоты
тот же там, ныне и прежде.

Изменяется млея и мается
распадается на куски
даже самая малая малость
растекается из-под пальцев.
Сунул нам пустоту в кулаки

вынул чувств золотой отпечаток
шарового упругого строгого
в одиночество на дорогах
разбросал в тоске и печали

мы повесили арфы на вербы
мы подняли звезды на елки
положили зубы на полки
нежелезные наши нервы.

Ты пришел. Мы подняли руки – да.
Ты запел и мы опустили.
Свете тихий, где мы очутились
кровь вечернего света видна.

«Скажи мне кошечка...»

Скажи мне кошечка
каким концом
тебя задеть

Скажи мне лисанька
зачем хвостом
ты заметаешь след

Скажи мне ласточка
я обратился в слух
исчезли нос и рот и волосы
исчезло тело нету ног и рук

Скажи мне ласточка
своим трухлявым голосом
куда куда куда куда
вы все нетронутые
линяете смываетесь удар
не нанести и пар костей не ломит
в конце концов ушли
но не взорвали дом и в угол не нагадили

Скажи мне кошечка
тебе ль на край земли
мы продаем руду и покупаем склады
мы продаем ежеминутное тепло
и покупаем память
мы лисаньку сквозь тусклое стекло
глазами провожаем
и значит

Скажи мне лисанька
мы виноваты мы
багровые бессильные нагие
и надобно решать самим
покинет нас любовь или чего подкинет

Скажи мне ласточка
я слух я только слух
прошел и им живет на час
твой тесный и сварливый круг
кружась в котором жизнь зажглась
улетела
села рядом
на скале

тело мое тело
стало платой
я верну его земле
в срок

Скажи мне ласточка
Скажи мне лисанька
Скажи мне кошечка
что я сам сказать не смог

«Ожидается смех, страсть и холод...»

Ожидаются смех, страсть и холод,
ожидаются лица неизвестные и известные,
ожидается некий как бы сколок
с того, что уже наносили вёсны.

Так в разговорах о близком будущем
мы остаемся беспомощны и одеты,
подозревая друг в друге чудище
и даже уповая на это,

потому что всё вокруг
так скулит и сердце гложет,
потому что самый друг
весь насквозь проелся ложью

так, что не может быть благого
теплого жилья-былья.
На оболганное слово
светы тихие лия,

огонек напольной лампы
не взыграет за щелчком —
будут только ели лапы
щедро пудрить за окном,

и богатая причинность
убежденно засвербит,
заскрежест под овчиной
той, в которую закрыт

нос и торс, и форс твой зимний
в нежности не упасет
смех и страсть и холод. Синий —
синий под овчиной лед.

«Человек – какой-то дьявол, слово чести...»

Человек – какой-то дьявол, слово чести:
вывел кур без петухов, диетические яйца ест.
Сердце морем пучится и вести
ветер запахом несет окрест,
между губ моих произрастают розы
на грудь тем, кто в девках засиделся.

Человек – какой-то дьявол: сделал,
вытерся и вниз бумажку бросил.

Вот увидишь как из глаз полезут ветки,
и давай свисать плодами, накреньяться —
это мощный запах носит ветер
это кошки продолжают красться,
а кошачий добрый доктор их

тот, который по десятке с носа на потоке
выскребал их жалкие протоки —
человек какой-то дьявол! – сник.

Мир вприпрыжку и припляску
кинет кости отлюбить
вашу душу под завязку

когда Бог даст телу быть.

«За баней девочка быстра...»

За баней девочка быстра
мошонку гладит вверх,
а мою руку запустила в нерв
у основания бедра.

А воздух густ,
а осень бессмертна как жизнь,
а ветки хлыст на ветру свистит. Уст
ее лепестки внизу сошлись.

И душа ее на теле
чавкала, звала, журчала
на огромном теле двух,
будто бы на самом деле
миром правит величаво
вольный и свободный дух.

«Язык новизны и содома...» (на смерть Ю. Дунаева)

Язык новизны и содома.
Юру Дунаева убило машиной. Пьяный шофер.
А хороший был человек, хоть не все дома.
А Марина – позор. Позор.

Столько лет уже не живут вместе —
такая стерва! – сразу объявила, что она вдова.
Пока с переломанными костями Галя, его невеста,
в больнице, эта врезала замок и давай все продавать,

то есть всё, говорят, вплоть до ее босоножек,
а та с ним уже четыре года жила.
Ну, конечно не невеста, Господи Боже,
ну, конечно, жена.

И вот представляете, ляете, колебаете:
скульптор, Галя – скульптор, скульптор
кости переломаны, клеены, скляпаны
и вот ни работы, прописки, культы, культы.

У него только что вышла такая книжка о Боттичелли,
он в суриковском преподавал, она там студентка,
потому и не расписывались,
чтоб не было того-сего. Ясно. А эта
прикатила взяла его тело,
пока та лежала, из Ялты и все документы свистнула.

Господи, какая мука!
Господи, какая боль!
Наши цепкие подруги —
нет – и сразу входят в роль.

Это ж надо, Юра, Юра
денег в ЗАГС не заплатил
штамп на паспорт не поставил.
Гале не ваять скульптуру,
пенсии ей не дадут,
Ялта, улица, минут —
а – А! – и лети себе, лети

ясным солнышком в чертоги,
а вокруг сады леса.
Люди, люди будьте боги
и чурайтесь колеса,

колеса судьбы и кармы
вы не бойтесь – благодать
все смывает даром, даром
даром же, ебена мать.

Как под этим страшным небом
веселится наш оркестр!
Мы живем отнюдь не хлебом,
с умилением на крест

глядя, прославляя, лая
от избытка сладких чувств.
Мы живем надеждой рая,
целованьем Божьих уст.

Широка и неприступна
православная страна,
Иоанн-пресвитер мудро
скажет кто кому жена,

на гобое, на фаготе
забезумствуют хлысты,
мы построенные в роты
одесную на излете
понесем свои кресты.

А на всякое на лихо,
на недуги, на болезнь
– Свете тихий, Свете тихий,—
хоровая наша песнь.

«Как сатир, подверженный опале...»

Как сатир, подверженный опале,
покидает весь в слезах леса родные,
отстраня плачущую нимфу,
удаляясь, удаляясь как в тумане

угрюмоветренное небо, ложнозначительный покой
нам в души гроздьями попадали
одна твоя рука отныне
внизу в ногах моих шаманит,
а ты во рту моем – рекой

козлоногие, ну что мы натворили?
нас не выгнал Пан, не крик застал в тумане
только нимфа обернется на прощанье
изгибаясь, раздвигая круглой попкой крылья

«Я не жизнь свою похерил...»

Я не жизнь свою похерил —
я себе построил дом
кособокий, перепрели
загодя все доски в нем.

Тесом крыл, а дождик взял.
Жизнью жил, а хоть не умер,
слаб и не путем пискляв
что долдоню среди сумерек?

На ночь глядя, на ночь глядя
успокоиться пора.
Сядешь чай пить – девки-бляди
сами прыснут со двора.

Будешь чай пить, не толкуя
не о том, не о другом,
и кукушка накукует
новой жизни в старый дом.

Как заморский попугай
с жердочки я стану вякать,
стану вякать и играть,
стану какать в эту слякоть.

«Командировочный на койке отдыхал...»

Командировочный на койке отдыхал,
его душа парила над гостиницей,
внезапно – наглая бесстыдница —
непрожитая жизнь его влекла,

а он лежал, не зажигая лампы,
а он сумерничал, он даже чай не пил
и прожитую жизнь сдавал в утиль,
и отрывал не знамо где таланты,

которых отроду и не подозревал.
Душа его рвалась поверх горкома,
а сердце, очевидностью влекомо,
разваливалось у афишного столба.

Настаивался на окне кефир.
И вот пора после бессонной ночи
глядеться в зеркало и разминая очи
взвалить на голову неосвященный мир.

«Пять путешествий бледного кота...»

Пять путешествий бледного кота:
на край земли, в соседнюю квартиру,
к подножью серебристого кумира,
к той, что не та, и к той, что та,
нам описали в стансах и в романсы
чуть упростив переложили стансы.

Но я вскричал, ломаясь и скользя:
где миг, когда кота терзали мысли,
глаза прокисли и усы повисли
и было двинуться ему нельзя?
Где перелом, который искра Божья?
Как уловить возможность в невозможном?

«Когда мы живо и умно...»

Когда мы живо и умно
так складно говорим про дело,
которое нас вдруг задело,
и опираясь на окно,
не прерывая разговора,
выглядываем легких птиц
и суть прочитанных страниц
как опыт жизни вносим в споры,
внезапно оглянувшись вглубь
дотла прокуренной квартиры,
где вспыхнет словно образ мира
то очерк глаз, то очерк губ
друзей, которые как мы
увлечены и судят трезво
и сводят ясные умы
над углубляющейся бездной,

тогда нас не смущает, нет,
тогда мы и не замечаем,
что просто слепо и отчаянно
стремимся были детских лет
и доиграть, и оправдать,
тому, что не было и было
дать смысл – так через ночь светило
зашедшее встает опять
(прецессия нам незаметна),—
на том же месте вновь и вновь
нас рифмой тертою любовь
клеймит настойчиво и метко,
а в ночь... ложись хоть не ложись!
устареваешь новый сонник,
едва свою ночную жизнь
потацишь за уши на солнце,
но как прекрасно и свежо
на отзвук собственного чувства,
с каким отточенным искусством
весомо, страстно, хорошо,
на праведную брань готово,
остро, оперено и вот
надмирной мудростью поет
твое продуманное слово

и проясняется простор
на миг, но облачны и кратки
на нашей родине проглядки

светила вниз в полдневный створ
и потому-то недовольно
ты вспомнишь, нам твердят опять,
что нашим племенам не больно,
не так уж больно умирать.

«Утомителен волшебный океан...»

Утомителен волшебный океан,
пестр и выпренен петух индейский,
а судьба – его жена – злодейский
выклевала при дороге план.

Лом да вот кирка – и вся награда
за полеты грустные твои.
Рвутся от натуги соловьи
не за бабу – за кусочек сада.

Господи, да вправду ли хорош,
так ли уж хорош Твой мир зловещий,
даже если сможешь в каждой вещи
отслоить бессилие и ложь?

Это если сможешь, а не можешь —
просто ляжешь, ноги задерешь,
будешь думать: Господи, да что ж,
что ж Ты от меня-то хочешь, Боже?

Так велик волшебный океан
над простою тайной водопада.
Мхи на камнях, два шага – и сада
видно ветки через прыснувший туман.

Я дышу мельчайшей красотой,
я живу, ручьями отраженный,
и пляшу себе умалишенный,
бедный, неудавшийся, пустой.

«В одиночестве глубоком...»

В одиночестве глубоком
проводя часы и дни
даже, и каким же боком
я рассорился с людьми?

Я прожарился на солнце
летом, из дому ушел.
Этот год мне стал бессонницей,
разошедшийся как шов.

Вот такие вот дела:
вперемешку дни и дни —
меня мама родила
и рассорился с людьми.

«Что искали, что нашли...»

Что искали, что нашли,
выбегая утром рано
из ворот и ураганом
завихряясь в пыли,

наши ноги, наши души? —
Чудеса и небеса,
лента – девичья краса,
если взять тебя послушать.

Если же его послушать, —
суета, не стоит слов,
стыдно и смешно – ослом
надо быть, чтоб тратить душу

на такое.

«Страстно музыка играет...»

Страстно музыка играет
в парке в арке у пруда.
Лабух на кларнете лает.
Арка ходит ходуном,
ходит и в пруду вода
синим дорогим сукном.

На тропинке ручка в ручку
изваяньем под военный
визг стоят олигофрены,
смотрят косо без улыбки
на мордованную сучку,
утащившую полрыбки.

Ходасевич, Ходасевич
слышит свесившись из рая:
Айзенберг и Файбисович
страстно музыку играют.

«Не уходи, Тангейзер, погоди...»

Вн – Тн

Не уходи, Тангейзер, погоди.
Возможно все несчастья впереди
и ты успеешь вдосталь пострадать
на том привычном для тебя пути,
который тоже ведь не плац-парад.

Кто знает чем – ведь ничего не стало —
они согласные довольствоваться малым
живут, не тужат, небеса едят?
Но ты – не так, и я пишу с вокзала:
не уезжай, Тангейзер, навсегда.

Ты веришь – розу держит только вера,
ты знаешь, что безумие есть мера,
куда б ни кинулся, одна, одна.
И в пене слов рождается Венера
до розового дна обнажена.

«Ты ждешь, что роза расцветет...»

Ви – Ти

Ты ждешь, что роза расцветет
на посохе Войтылы,
и весь как есть смешной народ
забудет все, что было.

Но есть участие всерьез
и в мстительнейшем страхе —
не умирай совсем от слез
даже на этом прахе,

во влажных травах и цветах
лежи, влагая руки
в подвластные тебе науки,
невидимые просто так.

Пускай тот замок фей – вокзал,
с которого ты отбыл,
останется в твоих глазах
позорнейшим и подлым

пятном на жизни и судьбе
и снова станешь нем,
но я спешу, пишу тебе:
не уходи совсем.

«Отнесись ко мне с доверьем...»

Отнесись ко мне с доверьем,
запасись ко мне терпеньем,
не отчаивайся – жди.
Понимаю, сдали нервы,
под глаза упали тени,
над душой прошли дожди.

Тело телу знак завета —
знак насмешки над мечтой:
чаще говори про это —
реже говори про то.

В объясненье простодушья
в посрамленье всякой лжи
души тоже хочут кушать,
сердце тоже хочет жить.

Целься, целься, сердце, бейся!
Души жаждут перемен.
Выступает contra Celsus
оскопленный Ориген.

Восхищенный сотворенным
бесноватой чистотой
на позорный мир, влюбленный,
голой наступи пятой!

То, что жалит, не ужалит,
тот, кто прав, не проклянет.
Тихой мышью в душах шарит
Богом данный небосвод.

«Гори, гори куст...»

Гори, гори куст
в каменной пустыне.
Лежи, лежи пуст —
пусть сердце остынет.

Не смотри вперед,
не смотри назад —
все наоборот
который раз подряд.

Гори, гори куст,
лежи, лежи пуст
который раз подряд.

«По очищенному полю...»

По очищенному полю
на негнущихся ногах
ты идешь сама собою,
предвещая скорый крах

всем моим надеждам, всем
замыслам, мечтам, подсчетам.
Я тебя сегодня съем,
потому что мне – на что ты?

Стали грубыми дома,
стала мутной резью жажда,
улицы сошли с ума,
в логове закрылся каждый.

Станем вдосталь пить и есть! —
вялыми губами спалишь
розовую фею – честь
опушенных сном влагалищ.

Черен редкий ворс лобка,
дочерна вверху обуглились
над обрывами белка,
над проколами из глуби

брови. Синь моя нежна
набухает, и алеет
прежде времени весна
нам под знаком Водолея.

По умятым дня полям
над проколами левкоев
ноги небо шевелят
белым снегом налитое.

«Пускай тебе не можется...»

Пускай тебе не можется,
но наклонись вперед —
пускай с тобою свяжется,
кто подался назад
и ад перед тобою
и во весь рост народ
стоит и горд собою
и сам собою рад.

А та, кого люблю я,
кого просил годить,
не гоже поцелуя,
которого не дать,
уходит вверх по трапу —
ах! вид! ах! самый стыд! —
не дать ли вовсе драпу
ах! в самый-ямый ад.

Он бел и свежекрашен,
о! рашн пароход,
который много раньше
в Германии был взят
в счет бед и репараций.
Он режет лоно вод.
Не можется начаться,
не свяжется начать.

«Завтра утром мир побреешь...»

Завтра утром мир побреешь
нам расскажешь. Что я вдруг?
Что я вдруг?
Стоя вдруг завожуся об евреях
вдруг отбившихся от рук.

Пук
пук цветов на лоне царском —
ты под вечер позвони —
называют государством
позвони, попой, усни.

Завтра будет – завтра будет
если же конечно не
разрешит Господь наш людям
успокоиться вполне —
новый день и в новом дне
то что будет, то что любим
любим да и любим нет.

Ах, в какое удивленье, пенье, мненье,
всепрощенье, енье, вленье, открененье,
тенье, Господи, прости
наши души, наши семьи
не решатся прорасти.

«Этот день – ужасный день...»

Этот день – ужасный день,
этот срок – ужасный срок.
Вам на запад? На восток.
Дебри? Дерби. Дребедень.

Не расчисляй куски
разлинованного дня,
не рассчитывай тоски
от тебя и до меня.

Дерби? Дебри, конь в лесах,
трах! и сук по волосам —
я повис на волосах
и виновен в этом сам.

Ты куда несешься сам?
Ах! не думай о коне.
Пущенный не спустит мне
попущением отца.

Что передо мной горит?
То, что ночью говорит?
Несудимый одиноко
мрет и будет Богом
в сердце каждого зарыт.

«На рассвете в молочном мраке...»

На рассвете в молочном мраке
я тебе как кошка собаке
говорю: «Улялюм, Улялюм».
Ты отвечаешь мне степенно
на губах рыжеватой пеной
отмечается тяжесть дум.
И скулит над морем сирена.

О, пронзительный вопль искусства,
ты как водка идешь под капусту
и не знаешь куда идешь.
Душным запахом глушит чрево
розоватые визги гнева
надорвавшая голос ложь
осторожно обходит слева.

Улялюм тебе, Аннабель!
Беатричь тебя поебень!
Ноздреватый, денисьеватый
я с дороги ввалился в дом.
На столе только суп с котом.
Пот дымится молодцевато.
Кот – он держится молодцом.

Тортом вымазанным концом
приступаю к тебе с минетом,
ты оглядываешься на лето
и в холодном утреннем мраке,
как и следует выть собаке,
сев на корточки тянешь ртом.

«Было время пел и я...»

Было время пел и я,
пел о том, что очень горько —
не сложилась жизнь моя,
горько – корка не с икоркой.

Я иконки почитал,
ездил в Новую Деревню,
был, иному не чета,
не последний, хоть не первый, —

и прошло, по сути, всё.
Всё прошло куда-то мимо.
Закрутилось в колесо
и лицо моей любимой —

мельк да вихрь да вопль и скорбь.
В одиночестве убогом
жить себе наперекор
самому же вышло боком.

«Как шепоты ада...»

Как шепоты ада,
как шелест загадочных кошек
приходит награда,
которой увенчан и кончен,

ты бывший увечный,
ты шедший на Бог знает что
не то ради женщин,
не то это всё-таки не то

и снова сначала
убог неопрятен и толст
в тоске и печали
ты в горе-злосчастье уполз.

«Я может быть прочту когда...»

Я может быть прочту когда —
нибудь тебе о нашей связи
такое, что никак не влазит,
ну, ни в какие ворота,

и ты вздохнешь. Но не сменить
однажды прожитого часа,
и только кажется, что часто,
а никогда не рвется нить

связующая времена.
И в нашей жизни распушенной,
разъезженной, распотрошенной
и мы одни, и жизнь — одна.

«Влюбленных девочек черты...»

Влюбленных девочек черты
не добавляют к нашей карте
ни озера, ни высоты,
ни третьей дамы, ни азарта.

Одно и то же вертим мы
и мечем, и навек теряем
и от игры и до суммы
сверяемся дорогой к раю

с чем, что приходим не туда?
Хотя опять же повторю:
влюбленных девочек стада
не портят взятую игру.

«Логичен как самоубийца...»

Логичен как самоубийца
за ночью наступает день
и сочно золотятся лица
тела отбрасывают тень
а вечность не дает разбиться.

А вечность не дает разбиться
на крохотулечки времен
и соблюдает как милиция
сплошного действия закон
логична как самоубийца.

Сплошного действия закон
отбрасывает нас к причине
и вот тем самым разmozжен
на то, что было, то, что ныне
на крохотулечки времен.

И вот тем самым разmozжен
на прошлый день, на эту ночь
яснее мир не стал и он

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.